

РУССКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1900-1930-Х ГОДОВ

30 октября 2014 г.

Утреннее заседание. Ведет Сергей Зенкин

Николай Плотников (Бохум). Революционный дискурс справедливости. Понятие «правда» в русской интеллектуальной истории.

Илья Клигер (Нью-Йорк). Археология движения или система систем: о несинхронных моделях философии истории в работах Формальной школы.

Борис Маслов (Чикаго). Эволюционизм как проблема революционного сознания.

Илона Светликова (Санкт-Петербург). Несостоявшаяся революция: свержение “гуманизма”.

Пеэтер Тороп (Тарту). *Тема не объявлена.*

Вечернее заседание. Ведет Илона Светликова

Игорь Смирнов (Констанц). К критике гуманитарных наук.

Патрик Серио (Лозанна). Была ли революцией русская интеллектуальная революция?

Галин Тиханов (Лондон). Память теории: русский формализм и его наследие.

Ян Левченко (Москва). Контрапункт к мейнстриму. Споры о звуке в советском кино начала 1930-х годов.

Анке Хенниг (Берлин). *Тема не объявлена.*

31 октября 2014 г.

Утреннее заседание. Ведет Патрик Серио

Ирина Сироткина (Москва). Социология научного знания, от Волошинова и Гессена до SSK.

Дмитрий Шукуров (Иваново). Русский авангард и психоанализ: опыт интерференции дискурсов.

Александр Дмитриев (Москва). После неокантианства: пересекающиеся "круги" Бахтина, Шпета и Лукача на рубеже 1910 и 1920-х годов.

Патрик Флак (Прага). Русская интеллектуальная революция как европейский культурный трансфер: Пример Сиверса – Бекинга – Якобсона.

Томаш Гланц (Берлин). *Тема не объявлена*

Вечернее заседание. Ведет Игорь Смирнов

Сергей Зенкин (Москва). Там, где кончается слово: об одной тенденции в русской филологии 20-30-х годов.

Сергей Фокин (Санкт-Петербург). О формальном методе в русской теории перевода 1919-1939 гг.

Роберт Бёрд (Чикаго). Соцреализм как теория

Михаил Ямпольский (Нью-Йорк). *Тема не объявлена*

Роберт Бёрд Соцреализм как теория

«Без революционной теории не может быть
и революционного движения».
– Ленин, «Что делать?»»

«Теория может превратиться в величайшую силу
рабочего движения, если она складывается в
неразрывной связи с революционной практикой,
ибо она, и только она, может дать движению
уверенность, силу ориентировки и понимание
внутренней связи окружающих событий».
-- Сталин, «О теории»»

1. «Теория» (или «критическая теория») является одним из основных современных дискурсов, объединяющих гуманитарные и общественные науки. Она впитывает в себя такие отдельные, отчасти дисциплинарные явления как марксизм, психоанализ, структуральную лингвистику, культурную антропологию, философскую эстетику. В известной мере «критическая теория» является попыткой преодолеть «идеологию», интегрируя материалистическую науку с методами гуманитарного анализа. Одним из признаков теории является саморефлексивность, т.е. критическое отношение к своей истории и стремление преобразовывать себя диалектически в постоянно меняющейся исторической ситуации.

2. Советская культура 1920-х гг. давно привлекает историков теории своим сплавом революционной идеологии и экспериментальной культурной продукции. Элегически констатируя «конец теории», в своей недавней книге Дэвид Родоуик возводит ее возникновение отчасти к русскому формализму и Эйзенштейну. Среди русских истоков теории, иные авторы выделяют также и круг Бахтина, особенно В.Н. Волошинова (Р. Уильямс) и П.Н. Медведева (Р. Бёрд). Отчасти развивая эти аргументы, в настоящем докладе я предлагаю рассматривать проект социалистического реализма, по крайней мере в его начальной стадии (1932-1936), как попытку построить диалектическую дискурсивную систему, которая, отвечая требованиям «революционной теории» у Ленина и Сталина, во многом совпадает с нынешней «теорией». Полагаю, что прочтение соцреализма как теории допускает продуктивный подход к советской художественной и интеллектуальной культуре

второй пятилетки и, заодно, позволяет зафиксировать определенную хрупкость теории как проекта.

3. Соцреализм восходит к постановлению ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г., которое фактически упразднило все частные эстетические организации, предполагая создание единой культурной системы. Хотя до сих пор бытует мнение, что «апрель» положил конец относительно свободным поискам 1920-х гг. и, в частности, «советскому авангарду», современниками он воспринимался именно как признание социальной значимости собственно художественной (и прочей гуманитарной) деятельности. Соцреализм мыслился (в начале) не столько как обязательный стиль или канон, и совсем не как возведение тотального симулякра (см. у Е. Добренко и отчасти у Б. Гройса), сколько как диалектический подход к созданию социализма, в котором понятийная система марксизма-ленинизма диалектически проверяется новыми социальными и эстетическими практиками. Пример теоретического потенциала соцреалистического проекта – журнал «Литературный критик», вокруг которого группировались критики (напр., Е.Ф. Усиевич), писатели (напр., А.П. Платонов) и философы (напр., М.А. Лифшиц), в котором также подвизался один из основоположников критической теории Г. Лукач.

4. Хотя соцреализм по праву ассоциируется прежде всего с литературой, он проявился наиболее успешно в художественной кинематографии и в критическом дискурсе вокруг кинематографии. Уже в 1932 г. такой фильм как «Встречный» показывал возможности звукового кино, освобожденного от узких идеологических предпосылок, а к концу 1934 г. Советский Союз отмечал рождение качественно нового кино, одновременно экспериментального и популярного («Чапаев», «Юность Максима», «Веселые ребята» и др.). В свете таких веселых побед критика должна была искать концептуальное оправдание рождающейся практике социалистического искусства. Пример тому – критическая рецепция «лирического» кино Александра Довженко.

5. В 1936 г. поискам синтетического подхода к созданию и осмыслению социализма был положен конец. С одной стороны, новая анти-формалистская кампания поставила под сомнение легитимность свободной художественной деятельности. С другой, сталинская конституция и сопутствующие ей государственные реформы перенесли главные задачи из сферы социально-эстетической деятельности в сферу собственно юриспруденции. Вместо экспериментальной практики дело построения социализма стало обязанностью. Внутри дискурсивной системы соцреализма я предлагаю усматривать одну причину его провала в неразличении между критикой и теорией. Оставаясь формально отдельным видом дискурса, критика не разработала понятийной системы, адекватной художественной продукции того времени, отступая на выверенные методы исторической типологии и вкусовой оценки. Примеры тому наблюдаются как в истории журнала «Литературный критик», так и в дискурсе о социалистической кинематографии. Можно сказать, что провал соцреализма как

теории коренился в отказе от интерпретации, как ключевого социально-созидательного акта.

6. В заключение, я предлагаю квалифицировать соцреализм как *модель* теории. Как любая модель, соцреализм дает конкретный и наглядный пример теории в ее историческом и материальном бытовании. Перспективность раннего соцреализма позволяет зафиксировать потенциал теории как проекта. Хрупкость же раннего соцреализма позволяет зафиксировать ее неустойчивость как социального факта.

Александр Дмитриев (ВШЭ)

После неокантианства: пересекающиеся "круги" Бахтина, Шпета и Лукача на рубеже 1910 и 1920-х годов.

Сергей Зенкин (РГГУ)

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ СЛОВО: ОБ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 20-30-Х ГОДОВ

Ритм, жест, сюжет, быт, оценка, диалог, хронотоп, карнавал – этот неполный список понятий, которыми оперировали русские теоретики языка и литературы 20-30-х годов, показывает их стремление выйти за рамки изучения чисто словесных фактов, преодолеть рамки «филологии». Существенно, что расширение горизонта филологических штудий направлялось при этом не «по вертикали», в сторону обобщенных детерминирующих факторов словесной деятельности (мирового духа, национальной культуры, классового сознания и т.п.), а «по горизонтали», в направлении конкретных ситуаций языковой коммуникации. В конечном счете речь шла о том, чтобы ввести слово в горизонт поступка – и тем самым осуществить синтез смысловой герменевтики (humanities) и позитивных исследований социального поведения (social sciences). Эта дисциплинарная конвергенция, определившая собой дальнейшее развитие гуманитарных наук в XX веке, заставляет заново переосмыслить некоторые их базовые понятия, такие как «структура» и «смысл».

**Археология движения или система систем: о несинхронных моделях философии истории в работах Формальной школы
Илья Клигер, Нью-Йоркский Университет**

Две ключевые для философской мысли XX века критики историзма – знаменитые «Историко-философские тезисы» (1940) Вальтера Беньямина и статья «Противоречие и сверхдетерминация» (1962) Луи Альтюссера – так или иначе отсылают к историческим событиям в пореволюционной России. Как известно, текст Беньямина писался под впечатлением от известий о пакте Молотова-Риббентропа. Альтюссер же заканчивает статью словами о том, что без понятия

исторического пережитка нам не разобраться в вопросах о том, как «гордый и великодушный русский народ выносил сталинские преступления и репрессии с такой покорностью, как партия большевиков терпела их, не говоря уже о том, как коммунистический вождь мог их предписать» (116).

Во обоих случаях на повестке дня – вторая эпоха революции, насмешливо и жестоко извратившая, в глазах обоих философов, достижения первой. Ирония, нелинейность исторического процесса осмысляются Альтюссером с помощью понятия сверхдетерминации, описывающего ситуацию, при которой относительно автономные элементы надстройки с их особыми видами воздействия создают социальные формации, не выводимые из единого углубляющегося противоречия между Капиталом и Трудом. Поскольку элементы надстройки («‘идеологии’, ‘национальные традиции или обычаи’, ‘народный Дух’ и т.д.»), обладают «достаточной внутренней последовательностью, чтобы пережить свой непосредственный жизненный контекст», пролетарская революция в России оказывается способной принять форму тотальной государственности и террора.

Как и в работах Альтюссера, в тезисах Бенямина концепция линейного исторического времени объявляется идеологемой. Задача историка-материалиста – выявить в прошлом «тайный знак, указывающий на [его] освобождение». Для этого необходимо изучать историю изнутри, а не извне, ибо взгляд «извне» служит лишь лицемерно-объективным оправданием статуса кво «победителей». Чтобы выявить мессианский утопизм прошлого, неосуществившуюся полноту его бытия, необходимо пережить настоящее как «чрезвычайное положение». Именно поэтому, согласно Бенямину, «история – это предмет конструкции, расположенной не в пустом однородном времени, а во времени, наполненном настоящим моментом» (Jetztzeit).

Разочарование в эмпирически «данном» историческом процессе коррелирует у обоих мыслителей с идеей о том, что история в своей сути не открывается внешнему, схематизирующему (по Бергсону, «опространствующему») восприятию, принципиально неспособному к интуиции асинхронных процессов. Расходятся они в вопросе о принципах конструкции понятия истории. Ключевой для Альтюссера здесь является традиция рационалистической метафизики и современного структурализма, в то время как тезисы Бенямина связаны прежде всего с феноменологией и философией жизни.

Безусловно, проблематика пережитка не ограничивается попытками Бенямина и Альтюссера осмыслить несинхронность исторических процессов. В контексте, наиболее интеллектуально близком этим мыслителям, а именно в связи с необходимостью переосмыслить принципы марксистско-гегелевской диалектики перед лицом триумфа контр-революции (фашизма) в Европе, она возникает у Эрнста Блоха в статье 1932-го года о несинхронизме и диалектике. Известно, что этот вопрос поднимался и ранее, у Ленина и Троцкого на фоне сложно-революционной ситуации в России, у самого Маркса в поздних набросках к письму Вере Засулич, не говоря уже об этнографических работах Тайлора и Моргана, о

народнических сочинениях Герцена и Чернышевского, о философии Гердера и романтическом национализме первой четверти 19-го века. Важнейший вклад в этот, как сказал бы Бахтин, большой диалог, внесен также и работами Формальной школы литературоведения. Попытка полноценной интеграции формалистских построений в обще-европейскую парадигму «критики историзма» конечно выходит далеко за рамки настоящего доклада. Здесь предлагается лишь рассмотреть некоторые аспекты формалистской философии истории в соотношении с концепциями Бенямина и Альтюссера в целях выявления двух разнонацеленных моделей исторической асинхронии (их можно обозначить, например, как «виталистскую» и «научно-системную»), сосуществовавших и в некотором смысле дополняющих друг друга. Формулируя эти два варианта несинхронности, историко-литературные работы формалистов с одной стороны опережают многих своих современников в осмыслении непредсказуемости и зигзагообразности исторического процесса, а с другой сочетают историко-философские регистры, которые в скором времени окажутся принципиально несовместимыми и разделятся на два враждующих лагеря: гуманизм (экзистенциализм, феноменология) и структурализм.

Контрапункт к мейнстриму. Споры о звуке в советском кино начала 1930-х годов.

Ян Левченко (НИУ-ВШЭ, Москва)

janlevchenko@hse.ru

В докладе рассматриваются пути реализации альтернативной концепции звукового кино, изложенные Сергеем Эйзенштейном, Всеволодом Пудовкиным и Григорием Александровым в так наз. заявке о «Будущем звуковой фильма» (1929). Как правило, этот текст рассматривается историками кино как антиципация нового этапа в советском кино, которое вскоре двинулось по откровенно популистскому пути. Десятилетие экспериментов и авангардистских иллюзий закончилось вместе с началом пятилетнего плана. Еще не зная об этом, но наблюдая логику событий, лидеры советского монтажного кино были обеспокоены воцарением в кино «театрализованного» звука с его иллюстративностью и повествовательностью. Они также видели в нем угрозу своей художественной гегемонии и конец их личного революционного проекта. Продолжение революции в кино, по их мнению, состояло в контрапунктическом соотношении звука и изображения в фильме.

Подобно русским формалистам, принявшим в конце 1920-х годов писать манифесты о построении теории литературы, заведомо нереализуемой в наличных условиях, мастера советской революционной кинематографии отметили близкий конец монтажной эпохи сильным теоретическим жестом, маркирующим сужение экспериментального поля. Предложенная в заявке идея несовпадения изображения и звука могла быть реализована лишь в виде альтернативы коммерческому кино — той самой костюмной драме, с которой революционный авангард успешно боролся исключительно благодаря технологическому несовершенству медиума. Значит ли это, что теория, опережающая технологию и во многом определяющая пути ее

развития на раннем этапе, начинает в какой-то момент отставать от технологии? Вероятно, да, если речь идет о теории, восполнявшей производственный дефицит в нищей республике вплоть до середины 1920-х годов. И, по всей видимости, нет, если иметь в виду теорию, функционирующую в автономном режиме. Именно этот вид теории породил Эйзенштейн в течение своей кинематографической биографии. Для него театрализованный иллюстративный звук в кино плох не сам по себе, а ввиду своего сугубо прикладного характера, нейтрализующего дискуссионность медиума и переводящего технологию в режим оптимизирующего воспроизводства.

Примечательно, что теоретические рассуждения Эйзенштейна соотарищи были проиллюстрированы различными технологиями записи и воспроизводства звука, одновременно предложенными в СССР Александром Шориным в Ленинграде и Павлом Тагером в Москве. Первый запатентовал аппарат, представлявший собой усовершенствованную версию фонографа Томаса Эдисона, который записывал звук на пленку с помощью иглы. Точечный рисунок фонограммы обеспечивал на выходе достаточно контрастный звуковой контур, в котором без потерь распознавались только резкие шумы и отрывистые реплики. Второй прославился изобретением способа звукозаписи методом световой модуляции, который совпал с разработками звуковых систем в американском кино. Аппарат Тагера позволял воспроизводить более протяженные звуковые периоды, которые на начальном этапе бытования технологии страдали неустойчивым и слабо управляемым уровнем громкости. В этом смысле соображениям Эйзенштейна о непереносимом контрапункте, в котором должен звук находиться в отношении изображения, соответствовал аппарат Шорина — в противоположность аппарату Тагера, открывавшего перспективу записи пространственных звуковых периодов. Другими словами, диалогов на фоне музыки.

Немногочисленные фильмы, позитивно соответствующие принципам заявки, остались в истории образцами маргинального и неоднозначного кино — но только на фоне традиции, воспринявшей голливудскую схему как базовую, доминантную и лишённую альтернативы. Принцип контрапункта характерен для ленинградских постановок, таких как «Одна» (1931) Григория Козинцева и Леонида Трауберга, «Встречный» (1932) Фридриха Эрмлера, в меньшей степени — «Златые горы» (1932) Сергея Юткевича. Последняя картина — нечто среднее между контрапунктом и иллюстрацией, что связано, вероятно, со стремлением Юткевича «смягчить» резкий эффект от звуковой палитры картины, сделать ее «зрительской», максимально внятной в плане выражения. Снятая параллельно в Москве «Путевка в жизнь» (1931) Николая Экка и вышедший с большим опозданием «Дезертир» (1933) Всеволода Пудовкина (напомню: одного из авторов «Заявки») демонстрируют образцы звука, записанного на аппарате Тагера и обнаруживают более привычный современному зрителю протяженный модулирующий контур. При этом в обеих подгруппах раннего звукового кино можно встретить примеры сакрализации звука в оппозиции уже привычному, обыденному изображению, превращение звука в сюжетный и тематический триггер, в инструмент сюжетосложения и в целом — построения экранной

наррации. Звук в этих картинах становится важнейшим контрагентом изображения в деле обнажения интермедиального взаимодействия, открывающего наблюдаемый мир с какой-то новой, доселе неведомой стороны.

Независимо от концептуальной обусловленности звука в советских картинах начала 1930-х годов, можно говорить об аудиовизуальной революции, которая, в отличие от цвета, формата и даже скорости проекции на более ранних этапах бытования кино, кардинально изменила характер кинематографического зрелища. Пусть в дальнейшем и обреченного на длительную консервацию в фазе театра, снятого на пленку. Однако теоретические ожидания Эйзенштейна и его соавторов оказались не напрасными, о чем свидетельствуют позднейшие опыты со звуком в авторском кино — в медитативных пространствах Йона Джоста и Джима Джармуша, в психодрейфах Дэвида Линча и брехтовской условности Ларса фон Триера, в неигровых зарисовках Артавазда Пелешяна и Годфри Реджио...

Эволюционизм как проблема революционного сознания

Б. П. Маслов (Чикагский ун-т)

Наряду с классическим марксизмом, настаивающим на прерывности (стадиальности) исторического движения, в последние десятилетия девятнадцатого века сложились две влиятельные теории эволюции, которые выступали – и продолжают выступать – как интеллектуальная основа консервативного мышления. Это, во-первых, дарвинизм, вдохновлявший таких теоретиков истории культуры, как, например, Фердинанд Брюнетьер, трактовавший литературные формы как борющиеся за выживание виды, и – в недавнее время – Ханс Блюменберг, у которого принцип естественного отбора прямо легитимирует сложившийся литературный канон. Во-вторых, это во многом близкие дарвинизму, ставшие общим местом консервативного либерализма идеи Герберта Спенсера об индивидуализации и дифференциации общественных функций – процессах, в которых он усматривал благотворную сущность эволюции западноевропейской цивилизации.

Историческая поэтика – как в исходной версии А. Н. Веселовского, так и в различных позднейших толкованиях – находится в непростых отношениях с этими тремя эволюционными доктринами, пришедшими на смену гегелевской философии истории. В докладе я коснусь трех аспектов этой проблемы, с тем чтобы обрисовать общую картину освоения эволюционизма в ранней советской рефлексии о литературе. Во-первых, необходимо прояснить степень зависимости Веселовского, полемизировавшего с дарвинизмом в лице Брюнетьера, от либерально-прогрессистских взглядов Спенсера. Во-вторых, речь пойдет о том, как исторической поэтике «прививали» стадиальность Н. Я. Марр и В. М. Жирмунский. Наконец, я остановлюсь на трудах О. М. Фрейденберг, едва ли не самого радикального советского теоретика историко-литературной прерывности, акцентировавшего внимание на значении первобытных пластов мышления. Во многом именно этот угол зрения, внешне сблизивший Фрейденберг как с общими догматами стадиального марксизма (через Моргана-Энгельса), так и с марристской

идеологической конъюнктурой, и позволил ее идеям, теоретическая значимость которых остается недооцененной, получить признание в академической среде двадцатых–сороковых годов. Полемизируя как с Веселовским, так и – в не предназначенных для печати работах – с экономическим детерминизмом, Фрейденберг возвращается к гегелевскому идеализму в своей фундаментальной концепции последовательной смены форм мышления (миф – литература – философия), но находит материалистическое «алиби» в теории пережитка, опосредованной Марром.

Н. Плотников, Рурский университет Бохума
Революционный дискурс справедливости. Понятие «правда» в русской интеллектуальной истории

В докладе предпринимается попытка реконструировать процесс превращения понятия «правда» в «ключевое понятие» русского политического сознания. В противоположность распространенному убеждению, что это понятие является базовой «константой» русской культуры на протяжении всей ее истории, в докладе обосновывается тезис, что данное понятие приобретает характер «ключевого» лишь на рубеже XIX–XX вв. и служит индикатором изменений политического сознания накануне революции. Основной вектор этих изменений заключается в плюрализации дискурсов справедливости в публичном пространстве, которая вызывает у современников ощущение распада традиционной картины общества. В формуле Н.К. Михайловского «двуединой правды» участники публичного интеллектуального дискурса начала XX в. находят консенсуальное выражение нормативного образа справедливости, способного положить конец процессу плюрализации политических категорий. С этого времени складывается представление об «особом значении» понятия «правда» для русского культурного сознания, которое цементирует на уровне семантики идею перманентной революции.

Илона Светликова (Санкт-Петербург)
Несостоявшаяся революция: свержение “гуманизма”

Среди материалов, касающихся русской рецепции Канта, сравнивавшего свою философию с коперниканской революцией, мы обнаруживаем радикальные - и напрямую связанные с политическими взглядами авторов - попытки пересмотреть коперниканскую картину мира и свергнуть “гуманизм” (основателем гуманизма в данном контексте считался Коперник, а наиболее ярким воплощением гуманизма – Кант). Доклад посвящен анализу этой несостоявшейся интеллектуальной революции.

Патрик Серио (Университет Лозанна) : «Была ли революцией русская интеллектуальная революция ?»

Есть такие слова, которые решают проблему самим фактом их произнесения. Это известное явление презумпции истинности и существования денотата имени. Именно поэтому данный доклад посвящен исследованию термина «интеллектуальная революция».

Несмотря на заявления революционеров о том, что они «пишут новую страницу в книге мировой истории» и начинают совершенно новую эру (М. Робеспьер, Л. Троцкий, Мао-Цзэдун), необходимо заметить, что революции не происходят в вакууме, и воспитание «новых людей» происходило в «старое время».

В 20-е годы XX века как в Советской России, так и в эмигрантской среде, новые интеллектуальные течения, какими бы новаторскими они не были, опирались на идеи, теории, дискуссии, споры, разногласия, противоречия, недоразумения, которые незаметно подготавливали интеллектуальный взрыв первого послеоктябрьского десятилетия.

Даже такие ученые, на первый взгляд кажущиеся противниками, как Н. Марр и Р. Якобсон, на самом деле имели много общего. Их объединял сильный анти-позитивизм, отказ от генетического объяснения сходств между явлениями, недоверие к «старой» науке.

Н. Марр и его единомышленники не являлись печальным, или маргинальным феноменом истории, которую хотелось бы поскорее предать забвению, а наоборот, эпизодом, необходимым для понимания интеллектуального брожения целого поколения русских исследователей. Без тщательного изучения марризма история семиотики в СССР имела бы слишком много недостающих звеньев. Вместе с тем, без идей Дж.-Б. Вико, О. Конта и итальянских неолингвистов понимание самого марризма нам представляется невозможным.

Ирина Сироткина

Социология научного знания, от Волошинова и Гессена до SSK¹

Тезисы доклада на конференцию

Новые модели культуры в «русской теории» 1920-1930-х годов

Что связывает розенкрейцера, музыканта и филолога Валентина Николаевича Волошинова с членом ВКП(б), физиком и историком науки Борисом Михайловичем Гессеном, а их обоих — с социологией научного знания, направлением на стыке эпистемологии, социологии и истории науки, поднявшемся на волне 1960-х годов? Как я попытаюсь показать, двое русских ученых подготовили почву для этой влиятельной (первоначально, британской) концепции.

Все началось со статьи Волошинова «По ту сторону социального. О фрейдизме», опубликованной в журнале «Звезда» в 1925 году и с тех пор переведенной на многие языки и многократно цитировавшейся. Вероятнее всего, поводом написать

¹ Sociology of Scientific Knowledge.

ее для Волошинова послужила книга Отто Ранка «Das Trauma der Geburt» («Травма рождения», 1924). Возмущенный идеями Ранка, молодой исследователь написал критическую статью, где назвал их «великолепной *reductio ad absurdum* фрейдизма»². Тем не менее, именно из этой книги Волошинов заимствовал представление о психоаналитическом сеансе как проекции иного события: Ранк имел в виду акт рождения. Доводы его таковы: во-первых, «самое психоаналитическое лечение тянется нормально около девяти месяцев»; во-вторых, полутемный кабинет изображает для больного (его бессознательного) *uterus* матери; в-третьих, «конец лечения воспроизводит травму рождения — больной должен освободиться от врача и изжить свое травматическое отделение от матери» (цит. там же). Несмотря на то, что Волошинов эти идеи высмеял, сам метод Ранка он перенял и утверждал, что вся психическая динамика, описываемая Фрейдом, бурные отношения сознания и бессознательного представляют собой «грандиозную проекцию». А именно, проекцию в индивидуальную психику отношений, весьма драматических, врача и пациента:

В корне... находится одно конкретное событие, повторяющееся в жизни Фрейда каждый день и определившее, наконец, все навыки его мысли и даже самое мироощущение.

Мы имеем в виду сложные отношения врача-психиатра и больного-невротика — этот маленький социальный мирок с его специфической борьбой, с тенденцией больного скрывать от врача некоторые моменты своей жизни, обманывать его, упорствовать в своих симптомах и пр. и пр. (там же, с. 208)

(Интересно, что эпиграфом к этой статье Волошинов взял диалог с доктором «Героя нашего времени» Лермонтова.³)

Основывая свою критику на марксизме, Волошинов категорически осудил «устремление буржуазной философии — создать мир по ту сторону социального, собрать в него все то, что можно абстрактно выделить из целого человека, ипостазировать (олицетворить) эти абстрактные моменты и пополнить всевозможными фикциями» (там же, с. 214-215). В этом, наряду с Фрейдом, повинны Анри Бергсон и Рудольф Штейнер: философию Бергсона Волошинов назвал «биологизмом», антропософию — «космизмом», а психоанализ —

² В.Н. Волошинов. «По ту сторону социального. О фрейдизме», Звезда, № 5 (11), 1925, с. 213.

³ «Что до меня касается, то я убежден только в одном...» — сказал доктор. «В чем это?» — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

«В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру».

«Я богаче вас! — сказал я, — у меня, кроме этого, есть еще убеждение — именно-то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться». (там же, с. 186).

«психобиологизмом» и «сексуализмом». Всех их вместе он положил на одну – асоциальную – чашу весов; на другой чаше лежала марксистская философская антропология.

Самым интересным, однако, было не критическое содержание работ Волошинова, а то, что там по ходу появлялось конструктивное. В «Фрейдизме» это — социальная или диалогическая концепция высказывания. Тремя годами позже Волошинов (по-видимому, вместе с М.М. Бахтиным) развил ее в работе «Марксизм и философия языка» (1930). В статье же 1925-го года таким конструктивным выводом был, как нам кажется, социальный или, говоря более поздним языком, структурный подход к знанию. Правда, Волошинов ограничил этот подход областью «субъективной», т.е. ненаучной, психологии. Однако он — пожалуй, впервые — зафиксировал тот важный момент антропологического знания, что оно может быть «проекцией» в психику некоторых объективных отношений внешнего мира» (подчеркнуто Волошиновым).⁴ Сами же отношения, по мнению автора, — не просто бытовые и личные, а обусловлены социальным статусом участников. Иначе говоря, и больной, и врач стремятся не просто провести свою точку зрения, но и «отстоять свой авторитет». Больной, со более низким статусом, старается скрыть что-то от врача, а тот хочет «добиться признаний от больного, <...> заставить больного принять правильную точку зрения на болезнь и ее симптомы» (там же). Волошинов — по-видимому, бессознательно — представляет психоаналитический сеанс как допрос у следователя. Однако главное — что он предлагает при этом социальную или структурную модель того, как возникает знание.

Модель эта инспирирована в той же степени Ранком, в какой и Марксом — возможно, вначале первым даже больше, чем вторым. Но за время, прошедшее между публикацией статьи и выходом брошюры, в голосе Волошинова усилились твердые истматовские нотки. Во «Фрейдизме» он уже акцентировал классовый характер отношений врача и пациента, различия между ними «в поле, возрасте, в социальном положении, наконец, различие профессий — всем этим осложняются их взаимоотношения и борьба» (там же). Психоанализ Волошинов называл «психологией деклассированных» (с. 91), подразумевая, что тот не только моделирован с людей, не принадлежащих ни к какому определенному классу, но и создан, и востребован именно такими людьми. Свою критику он обратил на «современного “Kulturmensch’a” — штейнерианца, бергсонианца, фрейдиста — и три алтаря его веры и поклонения: магию, инстинкт, сексуальность». А желание этого “Kulturmensch’a” «создать мир по ту сторону социального и исторического» (там же; подчеркнуто Волошиновым) он осуждал больше всего. По-видимому, в это время происходила болезненная «перековка» молодого человека, пытавшегося зашагать в ногу со временем: «Где закрыты творческие пути истории, там остаются только тупики индивидуального изживания обесмысленной жизни» (там же).⁵

⁴ В.Н. Волошинов. Фрейдизм и современные направления философской и психологической мысли (Критическая ориентация). М.: Лабиринт, 1927/1993. С. 77-78.

⁵ Для этого нам еще надо изучить подробности его биографии – интригующей и трагической.

Итак, для анализа научного знания Волошинов применил социальный, структурный или «классовый» подход. Но у него речь шла о знании *ошибочном, неистинном* — таком, как в психоанализе и «субъективной» психологии. К знанию, признанному «истинным» — например, марксизму — он такой подход применить, по крайней мере, публично, не решался. Оставался вопрос: приложим ли такой анализ к знанию «объективному», такому, которое, вроде бы, оправдывает свои претензии на истинность? На этот вопрос прямой ответ дал физик, философ и историк науки Борис Михайлович Гессен (родившийся в 1893 году в Елисаветграде, а окончивший свои дни во Внутренней тюрьме НКВД в 1936 году).

Самая известная работа Гессена, принесшая ему международное признание, — доклад «Социально-экономические корни механики Ньютона» на втором Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне в 1931 году. Попытка автора истолковать физику Ньютона, исходя из социального, политического и экономического контекста Англии XVII века, хотя и подвергалась не раз критике, стала декларацией марксистского подхода к истории науки. Доклад произвел огромное впечатление — в том числе, на маститых философов и историков науки Дж. Бернала и Дж. Нидэма; его влияние в разное время испытали Дж. Кроутер, Х. Леви, Р. Мертон, Ст. Тулмин и Дж. Равец. Более шестидесяти лет спустя, историк науки Лорен Грэхэм написал, что доклад этот «является по масштабам своего влияния одним из наиболее важных сообщений, когда-либо звучавших в аудитории историков науки».⁶

По-видимому, чтобы избежать лишних упоминаний о марксизме, подход, предложенный Гессеном, назвали «экстерналистским». Иными словами — таким, который объясняет развитие науки и приращение знания не «изнутри», а «извне» науки, факторами социальными, экономическими, «материальными» — в отличие от «идейных». В конце 1960-х-начале 1970-х этот подход «пророс» в то, что назвали «социологией научного знания» (Sociology of Scientific Knowledge, сокращенно SSK). Начали ее тогда британские, главным образом, философы и социологи Барри Барнс, Дэвид Блур, Стивен Коллинз, Майкл Малкей и другие.⁷ Своими предшественниками они считали американцев Роберта Мертона и Томаса Куна, но вдохновлялись, в том числе, леворадикальными идеями, широко распространенными тогда в интеллектуальных кругах — анархизмом, марксизмом, троцкизмом и маоизмом. Происхождение знания они объясняли на основе социальных процессов и институтов, т.е. взаимодействия ученых между собой и с окружающим их миром людей и вещей. Это сдвинуло центр внимания к анализу *производства* научного знания — например, добыванию его в лаборатории — подобному процессам материального производства. Одним из первых сформулированных в SSK принципов стало требование «симметрии»: чтобы

⁶ Л. Грэхэм. Социально-политический контекст доклада Б.М. Гессена о Ньютоне (перевод А. Ю. Стручкова). // Вопросы истории естествознания и техники. No 2, 1993. С. 20-31.

⁷ См., напр.: Jan Golinski. Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science. Cambridge; Cambridge University Press, 1998.

социальный анализ применялся не только к объяснению научных заблуждений, но и научных истин.

Несмотря на близость их идей к тем, которые в начале 1930-х активно обсуждались в связи с докладом Гессена, его имя редко возникало. Возможно, причиной этого стало не слишком удачное название, закрепившееся за его подходом — «экстернализм». Оно как бы возводило барьер между социальным контекстом и содержанием научного знания. Между тем, намерение самого Гессена было противоположным: объяснить, как идеи возникают из контекста. По остроумному наблюдению Грэхэма, Гессен, который у себя на родине защищал Эйнштейна от грубого «классового анализа», написал свой лондонский доклад, чтобы соблюсти «симметрию». В пику своим коллегам, шельмовавшим Эйнштейна, Гессен стремился показать, что дать социальное объяснение «истинной» теории Ньютона, против которой диаматчики возразить ничего не могли, столь же правомерно, сколь «ошибочной», по их мнению, теории Эйнштейна (Грэхэм, *op. cit.*).

Хорошо известно, что для интеллектуальной жизни 1920–1930-х годов марксизм как идеология во многих случаях оказывался губительным. Так, тезис о «социальном заказе» позволил вести избирательные репрессии в литературе, искусстве и науке. Гораздо меньше внимания, однако, уделялось тем продуктивным идеям и теориям, на которые исследователей, волей или неволей, навело обращение к марксизму. Об этом, в свое время, писал Грэхэм, приводя в пример работы Л.С. Выготского, Н.А. Бернштейна и других советских ученых — включая Гессена.⁸ В докладе я попытаюсь показать, как идеи о социальном анализе науки, сформулированные в 1920-е — начале 1930-х годов, в том числе, Волошиновым и Гессеном, находили свое продолжение и развитие у представителей современной социологии научного знания.

И.П. Смирнов

К критике гуманитарных наук

Революции в науках о природе стремятся исключить исключительное (тайное, неизведанное) так, чтобы охватить концептуализуемую реальность сетью закономерностей. Перелом в системе естествознания следует из расширения эксклюзивности, например, из превращения геоцентрической картины мира в гелиоцентрическую. Сциентизм прогрессирует в поисках такого исключения, которое не поддавалось бы дальнейшим исключениям. Если вселенная состоит из несчетного множества миров, что постулировал в своем посткоперниканском учении Джордано Бруно, то сюда никак не прибавить еще один центр – еще одну привилегированную позицию, заняв которую можно было бы надеяться на информационный выигрыш.

⁸ *Loren R. Graham. Science and Philosophy in the Soviet Union. Alfred Knopf, 1972; Лорен Р. Грэхэм. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1991.*

Чтобы добыть ультимативное знание и тем самым приостановить историю, науки о природе стараются установить некую абсолютную величину, которая сообщает неколебимость их положениям (такова скорость света в релятивистской физике или гравитационная постоянная, вытекающая из уравнений классической механики). В своем противостоянии истории науке приходится быть недовольной и собой как время от времени радикально перестраиваемым знанием. Эта неудовлетворенность выражается в том, что наука переходит от однозначно к двузачно финитной модели действительности. Оказываясь удвоенным, абсолютное исключение усиливается в самопревосхождении (как, например, в квантовой механике, введшей в оборот представление о том, что корпускулярная материя имеет также волновую природу).

Гуманитарные дисциплины не отличаются по своей интенции от естественнонаучных. Стратегия науки как таковой, исключая исключения, подразумевает, что сознание, замыкающееся на себе, расстается со своим обособленным от бытия статусом, встречается с сущим, желая раствориться в нем. Несходство парадигмообразующих инноваций в природоведении и в человековедении лежит, как это ни парадоксально, в том, что они сходны. Отменяя подобно естествоиспытанию автономию сознания, науки о Духе отбирают у человека возможность вполне распоряжаться собой, моделируют его отчужденным от себя – подчиненным некоей фатальной, объективно наличной силе и впадают в антиномичность, коль скоро нельзя отрицать того, что социокультурные преобразования совершаются с участием сознания. Если при исследовании натурофактов два подмножества (как в квантовой механике) дополняют друг друга до универсального множества, то изучение артефактов, сталкивающееся с разными началами в рассматриваемом объекте, тонет в противоречии.

Под этим углом зрения в докладе обсуждается ряд революционных инициатив в гуманитарных науках XX в. (лингвистика Ф. Де Соссюра, психоанализ, формализм, школа М.М. Бахтина, штудии О.М. Фрейденберг по мифопоэтике). Так, в психоанализе роковая сила, обрекающая индивида на несамотождественность, получает имя «бессознательного». Инстинктивные влечения служат, согласно Фрейдю, источником разнообразных ошибок, подстановок одного на место другого и побуждают науку о душе стать демистифицирующей критикой социокультуры. Социальное «сверх-я» не в силах справиться со стихийностью психики. Сознание, лишь реагирующее на то, что ему противоположно, обретает ценность в той мере, в какой бросает свет на бессознательное. Но если иррациональность онipotентна, то и научно-терапевтическая рационализация таковой не что иное как *quid pro quo* среди прочих культурогенерирующих подмен. Откуда сознанию известно, что бессознательное не сыграло с ним злую шутку?

По аналогии с тем, как ни одна революционная политическая акция не способна принести людям всеобщее равенство, научные прозрения не могут схватить в финальной (всеобъяснительной) модели динамику духовной деятельности, пока у той еще не иссяк творческий ресурс. И все же, сколь ни шатки наши представления о нас самих, революционные сломы случаются в гуманитарных дисциплинах не попусту, обогащают социокультуру частично приемлемыми для нее сведениями о том, какова она. Ибо гуманитарное знание, даже подтачиваемое

самоопровержением, не выходит за рамки тех же операций ума, которые руководят людьми на практике. Будучи историчной, она самоопровержима, как и наука о ней.

**THE MEMORY OF THEORY: RUSSIAN FORMALISM AND ITS
LEGACIES**

Galin Tihanov (Queen Mary, University of London)

Over the past ten years since its publication, my article on the birth and death of modern literary theory has received different responses. I have drawn inspiration from some of the discussions that enabled me to revisit the seminality of my initial insistence on epistemological regimes being historical formations with a clear and compelling end point. In this paper I wish to rethink this proposition by conceiving of the death of literary theory as a precondition for a debate on its living legacy. This strikes me as a way of contemplating theory neither through the prism of nostalgia, nor through the dust of the museum.

At the heart of my paper are Russian Formalism and its multiple legacies. I am particularly interested in establishing the originary crises of theory inscribed in the work of the Formalists, later recurring in different settings and with a different significance. The analysis I undertake is informed by a rigorous discussion of Russian Formalism's entanglement with modernity; I am here aided by Rancière's framework of autonomy and heteronomy, and by what I call, by paraphrasing Bakhtin, the "memory of theory". In other words, I propose a conversation about the impact and dispersed legacies of Russian Formalism and, more widely, of classical literary theory. Language is pivotal in this examination of Russian Formalism and its afterlives, as are the Formalists' takes on tradition and canonicity.

**Русская интеллектуальная революция как
Европейский культурный трансфер :
Пример Sievers – Becking - Jakobson**

**Patrick Flack
Univerzita Karlova v Praze**

Аннотация: Целью данного доклада является изучение так называемой русской интеллектуальной революции в контексте роста европейских гуманитарных наук в начале XX-го века. Предполагается, что многое из радикальных инноваций в ландшафте русских гуманитарных наук этого времени были на самом деле результат оригинального поворота, который дали русские лингвисты, литературоведы, философы, психологи и т.д. немецким традициям XIX-го века. Эта гипотеза совсем не означает, что русская интеллектуальная революция была полностью обусловлена или основана на немецких источниках, а также отнюдь не намерена уменьшить оригинальность и специфичность русских вносов. Что подчеркивается, наоборот, это основополагающая, системная роль русской мысли в преобразовании немецкой наследие XIX-го века в современные парадигмы, которые определили европейские гуманитарные науки в XX-ом веке. В этом докладе, рассмотреться один конкретный пример для иллюстрации и защиты этой общей гипотезы: сложные взаимодействия между Эдуардом Сиверсем а его Ohrenphilologie, русским формализмом, "Кривыми" Густава Бэкинга и ранней структурной лингвистикой Романа Якобсона. Акцент будет сделан на плотных научных сетях и разнонаправленных культурных передачах, которые позволили повторное, взаимное обогащение идей и методов между немецкими, русскими и центрально-европейскими мыслителями и их теориями.

Сергей Л. Фокин

**д.ф.н. зав. кафедрой романских языков и перевода Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
профессор Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета**

О формальном методе в русской теории перевода 1919-1939 гг.

1. Подобно тому, как Французская революция XVIII века происходила при теоретическом содействии и сопровождении философии Просвещения, которая в самых радикальных своих формах мыслила себя в понятиях интеллектуального переворота (И. Кант) или «революции понятий и способов видения» (Ф. Гельдерлин), Русская революция начала XX века была обусловлена и сопровождалась настоящим интеллектуальным взрывом, бурным и стремительным становлением «русской теории». Одним из главных источников и движущих сил русской интеллектуальной революции явилось новейшее российское языкознание в лице А.А. Потебни, выдвинувшим концепцию «теоретической поэтики», новаторский характер которой определялся решительным призывом к «сближению поэтики с общей наукой о языке, лингвистикой» (В. М. Жирмунский. «Задачи поэтики», 1919).
2. Внимание к энергетической природе языка, равно как к проблеме внутренней формы слова, предопределило этноцентричное видение языка и связанное с ним сомнение в самой возможности литературного перевода, характеризующие лингвистическую концепцию А.А. Потебни. Не что иное, как критическое сознание радикальной непереводимости, несводимости одного языка к другому, обусловленное подобными и сходными воззрениями, предопределило возникновение – в русле общей русской интеллектуальной революции – вполне революционной теории перевода, которая, воплотилась, с одной стороны, в «буквалистском манифесте» (М.Л. Гаспаров) и переводах позднего В. Брюсова, тогда как с другой – в «формалистских заповедях» Н. Гумилева, изложенных в программной статье «Переводы стихотворные», напечатанной в печально знаменитой книге «Принципы художественного перевода» (1919, 1920).
3. Упор на «формальном методе» перевода утверждается с первых строк статьи Гумилева, когда он противопоставляет радикально новое понимание задачи переводчика классическим способам стихотворного перевода, при которых переводчик волен был менять размер, сочетание рифм и словарь оригинала на собственные литературные находки. Главное в этом противопоставлении – оппозиция «духа», который якобы передает классический переводчик, и «формы», каковая является единственным полноценным определением поэзии: «...Поэт, достойный этого имени, пользуется именно формой...».
4. Понимание перевода в виде культа и культуры формы, представленное в статье Гумилева, странным образом переключается с еще одним манифестом революционной теории перевода, родившимся почти в то же самое время в немецкой литературе: речь идет о статье В. Бенямина «Задача переводчика» (1924). Эти программные документы роднят не только упор

- на понятии формы, не только метафизика переводимости/непереводимости, но и повышенное внимание к личности переводчика в переводе, каковая, в конечном счете, поверяется способностью к забвению и жертве: там, где Гумилев утверждает, что «переводчик обязан забыть свою личность» ради сохранения авторских языковых форм, Беньямин указывает на «страшную, первородную опасность любого перевода: двери языка, столь расширенного и форсированного [как в переводах Гельдерлина – С.Ф.], могут захлопнуться и запереть переводчика в молчании».
5. Теоретический манифест Гумилева следует рассматривать не в виде литературного курьеза, каковым его видел в свое К. Чуковский, один из соавторов «Принципов художественного перевода», и как это делается порой в современной критике, а как одну из самых ярких манифестаций революционной теории перевода, сопровождавшей развитие политической революции в России в начале 20-х годов. Действительно, помимо буквалистской доктрины Брюсова русская теория и практика перевода в это время характеризуется поистине революционными переводческими начинаниями, среди которых выделяется опыт перевода романа Пруста «В поисках утраченного времени», предпринятый А.А. Франковским.
 6. Наконец, важно уточнить, что постепенное свертывание революционного проекта в политике сопровождалось как победой идей Чуковского в практике советского перевода, нацеленного на нетребовательного читателя, так и последовательным превращением революционной теории перевода 20-х годов в консервативный академизм, который заявил о себе как в знаменитой лекции М.П. Алексеева «Проблема художественного перевода» (1930), так и в статье «Перевод» «Литературной энциклопедии» (1934). В этом плане особенно показательным являются ранние работы А.В. Федорова, парадоксальным образом сочетавшие в себе революционные переводческие установки А.А. Франковского с постепенно утверждавшимся в науке перевода академическим догматизмом.

Шукуров Дмитрий (г. Иваново, Россия)

«Русский авангард и психоанализ: опыт интерференции дискурсов»

Рассматривается методологическая близость дискурсивных практик русского авангарда и принципов психоаналитической герменевтики в контексте отечественной интеллектуальной культуры Серебряного века. Основанием такого методологического сближения служит революционный характер и авангарда, и психоанализа. Подчеркивается специфическое влияние психоаналитического дискурса на процесс трансформации художественного языка русской авангардной культуры первой трети XX века.

В начале 1920-х гг. в психоанализе окончательно сложилась концепция двух антагонистических влечений человеческой психики: влечения к жизни (Эрос), включающего в себя стремление к размножению (сексуальное влечение) и стремление соединить части органического в некое единство (инстинкт самосохранения), и влечения к смерти (Танатос) – агрессивного, деструктивного влечения, направленного на восстановление прежнего, неорганического состояния живой материи. Особую роль в формировании этой концепции сыграли идеи российских последовательниц З. Фрейда Лу Андреас-Саломе и С. Н. Шпильрейн, которые в свою очередь прямо и косвенно были инспирированы метафизикой пола В. С. Соловьёва. Затронув тему «соловьёвских влияний», мы осветим принципиально важный для нас контекст, связанный с мотивом деструктивности как потенциально порождающей силы и продуктивной основы творчества. В исследовательском дискурсе этот мотив предстаёт сразу в нескольких планах.

Во-первых, как проблема первичного симбиоза и процесса его сепарации (формирование категорий «Я» и «не-Я»), имевшая принципиальный характер в истории методологических конструкции русского символизма (идея образа как «синекдохи *знакомого*»), русского формализма и футуризма (приём «остранения»).

Вопросы эстетики и поэтики русского литературного авангарда, заострённые на дискуссии вокруг *звуковой* и *образной* составляющих художественного слова и получившие теоретическую рефлексию в рамках знаменитой формальной школы литературоведения (В. Б. Шкловский, Р. О. Jakobson, Л. П. Якубинский и др.), соотносятся нами с психоаналитическим пониманием *имагинативной* и *фонетической* специфики в психоанализе. (Такое понимание, в частности, объединяет взгляды К. Г. Юнга на проблему *звука* и *образа*, сложившиеся в ходе проведения «ассоциативного эксперимента», и теорию параксиса – ошибок, оговорок, описок, ошибочных действий – З. Фрейда).

Во-вторых, в эвристической реализации психоаналитической идеи ложной идентичности (возникшей как результат постсимбиотической паралогики распадающегося субъекта) в опыте конструирования оригинальной *поэтики ошибки* у русских футуристов и заумников.

В-третьих, как методологическая основа формирования специфического понимания процесса интерференции дискурсов *автора* и *героя* в концепции «чужого слова» и идее полифонического романа у М. М. Бахтина, ставших предвестием лингвоориентированной теории субъекта у Ж. Лакана и теории интертекстуальности у Ю. Кристевой.

И, наконец, как проблема диссоциативной (множественной) авторской личности, приобретшей парадигматическое значение в нарративных конструкциях с использованием принципа диссоциации в литературе позднего авангарда в России.

В последовательности рассмотрения названных планов и будет выстроен доклад.

Томаш Гланц
"Русское измерение Пражского лингвистического кружка – продолжение формализма или его (критическая) альтернатива"?

При размышлениях о сочетании интеллектуальной среды в России до и после большевистского переворота с революционными практиками является русский формализм предметом естественным и даже необходимым. Доклад заостряет внимание на некоторых аспектах его связи с Пражским лингвистическим кружком (ПЛК), которая являлась амбивалентной. Если с одних позиций ПЛК казался заграничной агентурой и континуальным продолжением, развитием формализма, на что указывало в том числе и сходство его названия с Московским лингвистическим кружком, который вместе с ОПОЯЗом сыграл принципиально важную роль в формировании гетерогенной формалистской программы (на что до нескольких критических статей Максима Шапира, опубликованных в середине 1990-х гг., обращалось недостаточное внимание), то для других ПЛК, наоборот, лишь насильственно и зря пытались ретроспективно привязать к русскому формализму, с которым он был связан, с этой точки зрения, лишь косвенно.

В плане скептической оценки связи формализма не только с так называемой “пражской школой”, но с (центрально)европейским теоретическим мышлением 20-х и 30-х гг. вообще, следует на первом месте, пожалуй, упомянуть Яна Мукаржовского, автора нескольких острых замечаний и ряда имплицитных намеков на эту тему. Особенно значимой с точки зрения борьбы за родословную революционной смены парадигм в гуманитарных науках можно считать спор о рецепцию и влияние “гербартовской школы”. Этот спор никогда не стал предметом эксплицитной разработки и однозначных формулировок со стороны его участников. Частично попытался некоторые черты чешско-австрийского “формизма” трех главных его представителей (так или иначе опирающихся на Гербарта) — Дурдика, Гостинского и Зиха — реконструировать Олег Сус в 1980-е гг. на страницах Венского славистского альманаха.

В свете вопроса об интеллектуальной идентичности ПЛК с точки зрения его контактов с формализмом, точнее с некоторыми формалистами, кажется специальной постановкой вопроса обобщение пражской интеллектуальной среды с русскими гостями, которые с ПЛК сотрудничали, или являлись его членами. Отдельной историей надо считать влияние Николая Трубецкого, живущего во время деятельности ПЛК в Вене и представляющего исключительно важный авторитет для Романа Якобсона, одного из основоположников ПЛК. Ключевыми (главным образом для Якобсона) оказались также географические доктрины основоположника евразийства Петра Савицкого. Но и другие участники заседаний сыграли с точки зрения нашей постановки вопроса важную роль, хотя отдельные случаи несопоставимы и нуждаются каждый в отдельном рассмотрении. Выдающийся новатор фольклористики Петр Богатырев, приезжающий из СССР Юрий Тынянов, представитель пражской русскоязычной литературной критики Альфред Бем, дистанцированный от тезисов ПЛК Дмытро Чижевский, другой украинский филолог Агенор Артимович, лингвист Сергей Карцевский или впоследствии прежде всего как лексикограф известный Леонтий Копецкий — каждый из русскоязычных партнеров проекта ПЛК внес, с одной стороны, в работу

кружка специфические идеи, темы и интеллектуальные стратегии, и, с другой стороны, превратил опыт содействия с кружком в часть собственного научного профиля, воздействующего на его собственную среду.

Доклад пытается обнаружить отдельные индивидуальные линии или — там, где это возможно — более общие черты, объясняющие становление канона как формализма, так и ПЛК, причем именно в их напряженной и многогранной взаимосвязи.

Анке Хенниг.

Ретроформалистские приемы спекулятивной поэтики. Перебосновывая понятие «сдвиг».

Я буду исходить из некоторых мыслей Поэтики настоящего времени, написанной в соавторстве с Арменом Аванесианом. Я ссылаюсь на генеалогию приема "сдвиг" и его историю как понятия (от футуризма через структуралистическую лингвистику до нынешней когнитивной поэтики). Мой доклад будет посвящен вопросу, как можно развивать следы интеллектуальной революции 1910-1930-х гг. для сегодняшней теоретической работы.